



ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Правда, горькая правда.

Дантон

I

ГОРОДОК

Put thousands together-less bad,
But the cage less gay.

*Hobbes**

Городок Верьер, пожалуй, один из самых живописных во всем Франш-Конте. Белые домики с островерхими крышами красной черепицы раскинулись по склону холма, где купы мощных каштанов поднимаются из каждой лощинки. Ду бежит в нескольких сотнях шагов пониже городских укреплений; их когда-то выстроили испанцы, но теперь от них остались одни развалины.

* Соберите вместе тысячи людей — оно как будто не плохо. Но в клетке им будет не весело. *Гоббс (англ.)*.

С севера Верьер защищает высокая гора — это один из отрогов Юры. Расколотые вершины Верра укрываются снегами с первых же октябрьских заморозков. С горы несется поток; прежде чем впасть в Ду, он пробегает через Верьер и на своем пути приводит в движение множество лесопилок. Эта нехитрая промышленность приносит известный достаток большинству жителей, которые скорее похожи на крестьян, нежели на горожан. Однако не лесопилки обогатили этот городок; производство набивных тканей, так называемых мюлузских набоек, — вот что явилось источником всеобщего благосостояния, которое после падения Наполеона позволило обновить фасады почти что у всех домов в Верьере.

Едва только вы входите в город, как вас оглушает грохот какой-то тяжело ухающей и страшной на вид машины. Двадцать тяжелых молотов обрушиваются с гулом, сотрясающим мостовую; их поднимает колесо, которое приводится в движение горным потоком. Каждый из этих молотов изготавливает ежедневно уж не скажу сколько тысяч гвоздей. Цветущие, хорошенькие девушки занимаются тем, что подставляют под удары этих огромных молотов кусочки железа, которые тут же превращаются в гвозди. Это производство, столь грубое на вид, — одна из тех вещей, которые больше всего поражают путешественника, впервые очутившегося в горах, отделяющих Францию от Гельвеции. Если же попавший в Верьер путешественник любопытствует, чья это прекрасная гвоздильная фабрика, которая оглушает прохожих, идущих по Большой улице, ему ответят протяжным говорком: «А-а, фабрика-то — господина мэра».

И если путешественник хоть на несколько минут задержится на Большой улице Верьера, что тянется от берега Ду до самой вершины холма, — верных сто шансов против одного, что он непременно повстречает высокого человека с важным и озабоченным лицом.

Стоит ему показаться, все шляпы поспешно приподнимаются. Волосы у него с проседью, одет он во все серое. Он

кавалер нескольких орденов, у него высокий лоб, орлиный нос, и в общем лицо его не лишено известной правильности черт, и на первый взгляд даже может показаться, что в нем вместе с достоинством провинциального мэра сочетается некоторая приятность, которая иногда еще бывает присуща людям в сорок восемь — пятьдесят лет. Однако очень скоро путешествующий парижанин будет неприятно поражен выражением самодовольства и заносчивости, в которой сквозит какая-то ограниченность, скудость воображения. Чувствуется, что все таланты этого человека сводятся к тому, чтобы заставлять платить себе всякого, кто ему должен, с величайшей аккуратностью, а самому с уплатой своих долгов тянуть как можно дольше.

Таков мэр Верьера, г-н де Реналь. Перейдя улицу важной поступью, он входит в мэрию и исчезает из глаз путешественника. Но если путешественник будет продолжать свою прогулку, то, пройдя еще сотню шагов, он заметит довольно красивый дом, а за чугунной решеткой, окружающей владение, — великолепный сад. За ним, вырисовывая линию горизонта, тянутся бургундские холмы, и кажется, словно все это задумано нарочно, чтобы радовать взор. Этот вид может заставить путешественника забыть о той зачумленной мелким барышничеством атмосфере, в которой он уже начинает задыхаться.

Ему объяснят, что дом этот принадлежит г-ну де Реналю. Это на доходы от большой гвоздильной фабрики построил верьерский мэр свой прекрасный особняк из тесаного камня, а сейчас он его отделявает. Говорят, предки его — испанцы, из старинного рода, который будто бы обосновался в этих краях еще задолго до завоевания их Людовиком XIV.

С 1815 года господин мэр стыдится того, что он фабрикант: 1815 год сделал его мэром города Верьера. Массивные уступы стен, поддерживающих обширные площадки великолепного парка, спускающегося террасами до самого

Ду, — это тоже заслуженная награда, доставшаяся г-ну де Реналю за его глубокие познания в скобяном деле.

Во Франции нечего надеяться увидеть такие живописные сады, как те, что опоясывают промышленные города Германии — Лейпциг, Франкфурт, Нюрнберг и прочие. Во Франш-Конте чем больше нагорожено стен, чем больше щетинятся ваши владения камнями, нагроможденными один на другой, тем больше вы приобретаете прав на уважение соседей. А сады г-на де Реналья, где сплошь стена на стене, еще потому вызывают такое восхищение, что кой-какие небольшие участки, отошедшие к ним, господин мэр приобретал прямо-таки на вес золота. Вот, например, и та лесопилка на самом берегу Ду, которая вас так поразила при въезде в Верьер, и вы еще обратили внимание на имя «Сорель», выведенное гигантскими буквами на доске через всю крышу, — она шесть лет назад находилась на том самом месте, где сейчас г-н де Реналь возводит стену четвертой террасы своих садов.

Как ни горд господин мэр, а пришлось ему долгонько обхаживать да уговаривать старика Сореля, мужика упрямого, крутого; и пришлось ему выложить чистоганом немалую толику звонких золотых, чтобы убедить того перенести свою лесопилку на другое место. А что касается до общественного ручья, который заставлял ходить пилу, то г-н де Реналь благодаря своим связям в Париже добился того, что его отвели в другое русло. Этот знак благоволения он снискал после выборов 1821 года.

Он дал Сорелю четыре арпана за один, в пятистах шагах ниже по берегу Ду, и, хотя это новое местоположение было много выгоднее для производства еловых досок, папаша Сорель — так стали звать его с тех пор, как он разбогател, — ухитрился выжать из нетерпения и мании собственника, обуявших его соседа, кругленькую сумму в шесть тысяч франков.

Правда, местные умники злословили по поводу этой сделки. Как-то раз, в воскресенье, это было года четыре тому

назад, г-н де Реналь в полном облачении мэра возвращался из церкви и увидел издалека старика Сореля: тот стоял со своими тремя сыновьями и ухмылялся, глядя на него. Эта усмешка пролила роковой свет в душу г-на мэра — с тех пор его гложет мысль, что он мог бы совершить обмен намного дешевле.

Чтобы заслужить общественное уважение в Верьере, очень важно, громоздя как можно больше стен, не прельститься при этом какой-нибудь выдумкой этих итальянских каменщиков, которые пробираются весной через ущелья Юры, направляясь в Париж. Подобное новшество снискало бы неосторожному строителю на веки вечные репутацию сумасброда, и он бы навсегда погиб во мнении благоумных и умеренных людей, которые как раз и ведают распределением общественного уважения во Франш-Конте.

По совести сказать, эти умники проявляют совершенно несносный деспотизм, и вот это-то гнусное словцо и делает жизнь в маленьких городках невыносимой для всякого, кто жил в великой республике, именуемой Парижем. Тирания общественного мнения — и какого мнения! — так же глупа в маленьких городах Франции, как и в Американских Соединенных Штатах.

II

ГОСПОДИН МЭР

Престиж! Как, сударь, вы думаете, это пустяки? Почет от дураков, глазающая в изумлении детвора, зависть богачей, презрение мудреца.

Барнав

К счастью для г-на де Реналья и его репутации правителя города, городской бульвар, расположенный на склоне холма, на высоте сотни футов над Ду, понадобилось обнести громадной подпорной стеной. Отсюда благодаря на редкость

удачному местоположению открывается один из самых живописных видов Франции. Но каждую весну бульвар размывало дождями, дорожки превращались в сплошные рытвины, и он становился совершенно непригодным для прогулок. Это неудобство, ощущаемое всеми, поставило г-на де Реналю в счастливую необходимость увековечить свое правление сооружением каменной стены в двадцать футов вышины и тридцать — сорок туазов длины.

Парапет этой стены, ради которой г-ну де Реналю пришлось трижды совершить путешествие в Париж, ибо последний министр внутренних дел объявил себя смертельным врагом верьерского бульвара, — парапет этот ныне возвышается примерно на четыре фута над землей. И словно бросая вызов всем министрам, бывшим и нынешним, его сейчас украшают гранитными плитами.

Сколько раз, погруженный в воспоминания о балах недавно покинутого Парижа, опершись грудью на эти громадные каменные плиты прекрасного серого цвета, чуть отливающего голубизной, я блуждал взором по долине Ду. Вдали, на левом берегу, выются пять-шесть лощин, в глубине которых глаз отчетливо различает струящиеся ручьи. Они бегут вниз, там и сям срываются водопадами и, наконец, низвергаются в Ду. Солнце в наших горах печет жарко, а когда оно стоит прямо над головой, путешественник, замечтавшийся на этой террасе, защищен тенью великолепных платанов. Благодаря наносной земле они растут быстро, и их роскошная зелень отливает синевой, ибо господин мэр распорядился навалить землю вдоль всей своей громадной подпорной стены; несмотря на сопротивление муниципального совета, он расширил бульвар примерно на шесть футов (за что я его хвалю, хоть он и ультрароялист, а я либерал), и вот почему сия терраса, по его мнению, а также по мнению г-на Вально, благоденствующего директора верьерского дома призрения, ничуть не уступает Сен-Жерменской террасе в Лэ.

Что до меня, то я могу посетовать только на один недостаток Аллеи Верности — официальное это название можно прочесть в пятнадцати или двадцати местах на мраморных досках, за которые г-на де Реналь пожаловали еще одним крестом, — на мой взгляд, недостаток Аллеи Верности — это варварски изуродованные могучие платаны: их по приказанию начальства стригут и карнают немилосердно. Вместо того чтобы уподобляться своими круглыми, приплюснутыми кронами самым невзрачным огородным овощам, они могли бы свободно приобрести те великолепные формы, которые видишь у их собратьев в Англии. Но воля господина мэра нерушима, и дважды в год все деревья, принадлежащие общине, подвергаются безжалостной ампутации. Местные либералы поговаривают, — впрочем, это, конечно, преувеличение, — будто рука городского садовника сделалась значительно более суровой с тех пор, как господин викарий Маллон завел обычай присваивать себе плоды этой стрижки.

Сей юный священнослужитель был прислан из Безансона несколько лет тому назад для наблюдения за аббатом Шеланом и еще несколькими кюре в окрестностях. Старый полковой лекарь, участник итальянской кампании, удалившийся на покой в Верьер и бывший при жизни, по словам мэра, сразу и якобинцем, и бонапартистом, как-то раз осмелился попенять мэру на это систематическое уродование прекрасных деревьев.

— Я люблю тень, — отвечал г-н де Реналь с тем оттенком высокомерия в голосе, какой допустим при разговоре с полковым лекарем, кавалером ордена Почетного легиона, — я люблю тень и велю подстригать мои деревья, чтобы они давали тень. И я не знаю, на что еще годятся деревья, если они не могут, как, например, полезный орех, *приносить доход*.

Вот оно, великое слово, которое все решает в Верьере: приносить доход; к этому, и только к этому сводятся неизменно мысли более чем трех четвертей всего населения.

Приносить доход — вот довод, который управляет всем в этом городке, показавшемся вам столь красивым. Чужестранец, очутившийся здесь, плененный красотой прохладных, глубоких долин, опоясывающих городок, воображает сперва, что здешние обитатели весьма восприимчивы к красоте; они без конца твердят о красоте своего края; нельзя отрицать, что они очень ценят ее, ибо она-то и привлекает чужестранцев, чьи деньги обогащают содержателей гостиниц, а это, в свою очередь, в силу действующих законов о городских пошлинах приносит доход городу.

Однажды в погожий осенний день г-н де Реналь прогуливался по Аллее Верности под руку со своей супругой. Слушая рассуждения своего мужа, который разглагольствовал с важным видом, г-жа де Реналь следила беспокойным взором за движениями трех мальчиков. Старший, которому можно было дать лет одиннадцать, то и дело подбегал к парапету с явным намерением взобраться на него. Нежный голос произносил тогда имя Адольфа, и мальчик тут же отказывался от своей смелой затеи. Г-же де Реналь на вид можно было дать лет тридцать, но она была еще очень мило видна.

— Как бы ему потом не пришлось пожалеть, этому выскочке из Парижа, — говорил г-н де Реналь оскорбленным тоном, и его обычно бледные щеки казались еще бледнее. — У меня найдутся друзья при дворе...

Но хоть я и собираюсь на протяжении двухсот страниц рассказывать вам о провинции, все же я не такой варвар, чтобы изводить вас длиннотами и *мудреными обиняками* провинциального разговора.

Этот выскочка из Парижа, столь ненавистный мэру, был не кто иной, как г-н Аппер, который два дня тому назад ухитрился проникнуть не только в тюрьму и в верьерский дом призрения, но также и в больницу, находящуюся на безвозмездном попечении господина мэра и самых видных домовладельцев города.

— Но, — робко отвечала г-жа де Реналь, — что может вам сделать этот господин из Парижа, если вы распоряжаетесь имуществом бедных с такой щепетильной добросовестностью?

— Он и приехал сюда только затем, чтобы охаять нас, а потом пойдет тискать статейки в либеральных газетах.

— Да ведь вы же никогда их не читаете, друг мой.

— Но нам постоянно твердят об этих якобинских статьях; все это нас отвлекает и *мешает нам делать добро*. Нет, что касается меня, я никогда не прошу этого нашему кюре.

III

ИМУЩЕСТВО БЕДНЫХ

Добродетельный кюре, чуждый всяких происков, поистине благодать божья для деревни.

Флери

Надобно сказать, что верьерский кюре, восьмидесятилетний старец, который благодаря живительному воздуху здешних гор сохранил железное здоровье и железный характер, пользовался правом в любое время посещать тюрьму, больницу и даже дом призрения. Так вот г-н Аппер, которого в Париже снабдили рекомендательным письмом к кюре, имел благоразумие прибыть в этот маленький любознательный городок ровно в шесть часов утра и незамедлительно явился к священнослужителю на дом.

Читая письмо, написанное ему маркизом де Ла-Молем, пэром Франции и самым богатым землевладельцем всей округи, кюре Шелан призадумался.

«Я — старик, и меня любят здесь, — промолвил он наконец вполголоса, разговаривая сам с собой, — они не посмеют». И тут же, обернувшись к приезжему парижанину, сказал, подняв глаза, в которых, несмотря на его преклонный

возраст, сверкал священный огонь, свидетельствовавший о том, что ему доставляет радость совершить благородный, хоть и несколько рискованный поступок:

— Идемте со мной, сударь, но я попрошу вас не говорить в присутствии тюремного сторожа, а особенно в присутствии надзирателей дома призрения, решительно ничего о том, что мы с вами увидим.

Господин Аппер понял, что имеет дело с мужественным человеком; он пошел с почтенным священником, посетил с ним тюрьму, больницу, дом призрения, задавал немало вопросов, но, невзирая на странные ответы, не позволил себе высказать ни малейшего осуждения.

Осмотр этот продолжался несколько часов. Священник пригласил г-на Аппера пообедать с ним, но тот отговорился тем, что ему надо написать массу писем: ему не хотелось еще больше компрометировать своего великодушного спутника. Около трех часов они отправились заканчивать осмотр дома призрения, а затем вернулись в тюрьму. В дверях их встретил сторож — кривоногий гигант саженного роста; его и без того гнусная физиономия сделалась совершенно отвратительной от страха.

— Ах, сударь, — сказал он, едва только увидел кюре, — вот этот господин, что с вами пришел, уж не господин ли Аппер?

— Ну так что же? — сказал кюре.

— А то, что я вчера получил насчет них точный приказ — господин префект прислал его с жандармом, которому пришлось скакать всю ночь, — ни в коем случае не допускать господина Аппера в тюрьму.

— Могу сказать вам, господин Нуару, — сказал кюре, — что этот приезжий, который пришел со мной, действительно господин Аппер. Вам должно быть известно, что я имею право входить в тюрьму в любой час дня и ночи и могу привести с собой кого мне угодно.

— Так-то оно так, господин кюре, — отвечал сторож, понизив голос и опустив голову, словно бульдог, которого

заставляют слушаться, показывая ему палку. — Только, господин кюре, у меня жена, дети, а коли на меня жалоба будет да я места лишусь, чем жить тогда? Ведь меня только служба и кормит.

— Мне тоже было бы очень жаль лишиться прихода, — отвечал честный кюре прерывающимся от волнения голосом.

— Эка сравнили! — живо откликнулся сторож. — У вас, господин кюре, — это все знают — восемьсот ливров ренты да кусочек землицы собственной.

Вот какие происшествия, преувеличенные, переиначенные на двадцать ладов, разжигали последние два дня всяческие злобные страсти в маленьком городке Верьере. Они же сейчас были предметом маленькой размолвки между г-ном де Реналем и его супругой. Утром г-н де Реналь вместе с г-ном Вально, директором дома призрения, явился к кюре, чтобы выразить ему свое живейшее неудовольствие. У г-на Шелана не было никаких покровителей; он почувствовал, какими последствиями грозит ему этот разговор.

— Ну что ж, господа, по-видимому, я буду третьим священником, которому в восьмидесятилетнем возрасте откажут от места в этих краях. Я здесь уже пятьдесят шесть лет; я крестил почти всех жителей этого города, который был всего-навсего поселком, когда я сюда приехал. Я каждый день венчаю молодых людей, как когда-то венчал их дедов. Верьер — моя семья, но страх покинуть его не может заставить меня ни вступить в сделку с совестью, ни руководствоваться в моих поступках чем-либо, кроме нее. Когда я увидел этого приезжего, я сказал себе. «Может быть, этот парижанин и вправду либерал — их теперь много развелось, — но что он может сделать дурного нашим беднякам или узникам?»

Однако упреки г-на де Реналья, а в особенности г-на Вально, директора дома призрения, становились все более обидными.

— Ну что ж, господа, отнимите у меня приход! — воскликнул старик-кюре дрожащим голосом. — Я все равно

не покину этих мест. Все знают, что сорок восемь лет тому назад я получил в наследство маленький участок земли, который приносит мне восемьсот ливров; на это я и буду жить. Я ведь, господа, никаких побочных сбережений на своей службе не делаю, и, может быть, потому-то я и не пугаюсь, когда мне грозят, что меня уволят.

Господин де Реналь жил со своей супругой очень дружно, но, не зная, что ответить на ее вопрос, когда она робко повторила: «А что же дурного может сделать этот парижанин нашим узником?» — он уже готов был вспылить, как вдруг она вскрикнула. Ее второй сын вскочил на парапет и побежал по нему, хотя стена эта возвышалась более чем на двадцать футов над виноградником, который тянулся по другую ее сторону. Боясь, как бы ребенок, испугавшись, не упал, г-жа де Реналь не решалась его окликнуть. Наконец мальчик, который весь сиял от своего удачества, оглянулся на мать и, увидев, что она побледнела, соскочил с парапета и подбежал к ней. Его как следует отчитали.

Это маленькое происшествие заставило супругов перевести разговор на другой предмет.

— Я все-таки решил взять к себе этого Сореля, сына лесопильщика, — сказал г-н де Реналь. — Он будет присматривать за детьми, а то они стали что-то уж слишком резвы. Это молодой богослов, почти что священник; он превосходно знает латынь и сумеет заставить их учиться; кюре говорит, что у него твердый характер. Я дам ему триста франков жалованья и стол. У меня были некоторые сомнения насчет его добронравия, — ведь он был любимчиком этого старика-лекаря, кавалера ордена Почетного легиона, который, воспользовавшись предложением, будто он какой-то родственник Сореля, явился к ним да так и остался жить на их хлебах. А ведь очень возможно, что этот человек был, в сущности, тайным агентом либералов; он уверял, будто наш горный воздух помогает ему от астмы, но ведь кто его знает? Он с *Буонапартом* проделал все итальянские кампании,

и говорят, даже когда голосовали за империю, написал «нет». Этот либерал обучал сына Сореля и оставил ему множество книг, которые привез с собой. Конечно, мне бы и в голову не пришло взять к детям сына плотника, но как раз накануне этой истории, из-за которой я теперь навсегда поссорился с кюре, он говорил мне, что сын Сореля вот уже три года как изучает богословие и собирается поступить в семинарию, — значит, он не либерал, а, кроме того, он латинист.

— Но тут есть и еще некоторые соображения, — продолжал г-н де Реналь, поглядывая на свою супругу с видом дипломата. — Господин Вально страх как гордится, что приобрел пару прекрасных нормандок для своего выезда. А вот гувернера у его детей нет.

— Он еще может у нас его перехватить.

— Значит, ты одобряешь мой проект, — подхватил г-н де Реналь, отблагодарив улыбкой свою супругу за прекрасную мысль, которую она только что высказала. — Так, значит, решено.

— Ах, боже мой, милый друг, как у тебя все скоро решается.

— Потому что я человек с характером, да и наш кюре теперь в этом убедится. Нечего себя обманывать — мы здесь со всех сторон окружены либералами. Все эти мануфактурщики мне завидуют, я в этом уверен; двое-трое из них уже пробрались в толстосумы. Ну так вот, пусть они посмотрят, как дети господина де Реналья идут на прогулку под наблюдением своего гувернера. Это им внушит кое-что. Дед мой частенько нам говорил, что у него в детстве всегда был гувернер. Это обойдется мне примерно в сотню экю, но при нашем положении этот расход необходим для поддержания престижа.

Это внезапное решение заставило г-жу де Реналь задуматься. Г-жа де Реналь, высокая, статная женщина, слыла когда-то, как говорится, первой красавицей на всю округу. В ее облике, в манере держаться было что-то просто-душное и юное. Эта наивная грация, полная невинности и живости, могла бы, пожалуй, пленить парижанина какой-то скрытой пылкостью. Но если бы г-жа де Реналь узнала, что

она может произвести впечатление подобного рода, она бы сгорела со стыда. Сердце ее было чуждо всякого кокетства или притворства. Поговаривали, что г-н Вально, богач, директор дома призрения, ухаживал за ней, но без малейшего успеха, что снискало громкую славу ее добродетели, ибо г-н Вально, рослый мужчина в цвете лет, могучего телосложения, с румяной физиономией и пышными черными бакенбардами, принадлежал именно к тому сорту грубых, дерзких и шумливых людей, которых в провинции называют «красавец мужчина». Г-жа де Реналь, существо очень робкое, обладала, по-видимому, крайне неровным характером, и ее чрезвычайно раздражали постоянная суетливость и оглушительные раскаты голоса г-на Вально. А так как она уклонялась от всего того, что зовется в Верьере весельем, о ней стали говорить, что она слишком чванится своим происхождением. У нее этого и в мыслях не было, но она была очень довольна, когда жители городка стали бывать у нее реже. Не будем скрывать, что в глазах местных дам она слыла дурочкой, ибо не умела вести никакой политики по отношению к своему мужу и упускала самые удобные случаи заставить его купить для нее нарядную шляпку в Париже или Безансоне. Только бы ей никто не мешал бродить по ее чудесному саду — больше она ни о чем не просила.

Это была простая душа: у нее никогда даже не могло возникнуть никаких притязаний судить о своем муже или признаться самой себе, что ей с ним скучно. Она считала, — никогда, впрочем, не задумываясь над этим, — что между мужем и женой никаких других, более нежных отношений и быть не может. Она больше всего любила г-на де Реналья, когда он рассказывал ей о своих проектах относительно детей, из которых он одного прочил в военные, другого в чиновники, а третьего в служители церкви. В общем, она находила г-на де Реналья гораздо менее скучным, чем всех прочих мужчин, которые у них бывали.

Это было разумное мнение супруги. Мэр Верьера обязан был своей репутацией остроумного человека, а в особенности человека хорошего тона, полдюжине шуток, доставшихся ему по наследству от дядюшки. Старый капитан де Реналь до революции служил в пехотном полку его светлости герцога Орлеанского и, когда бывал в Париже, пользовался привилегией посещать наследного принца в его доме. Там довелось ему увидеть г-жу де Монтессон, знаменитую г-жу де Жанлис, г-на Дюкре, палерояльского изобретателя. Все эти персонажи постоянно фигурировали в анекдотах г-на де Реналья. Но мало-помалу искусство облекать в приличную форму столь щекотливые и ныне забытые подробности стало для него трудным делом, и с некоторых пор он только в особо торжественных случаях прибегал к анекдотам из жизни герцога Орлеанского. Так как, помимо всего прочего, он был человек весьма учтивый, исключая, разумеется, те случаи, когда речь шла о деньгах, то он и считался по справедливости самым большим аристократом в Верьере.

IV

ОТЕЦ И СЫН

E sarà mia colpa, se così è?

*Machiavelli**

«Нет, жена моя действительно умница, — говорил себе на другой день в шесть часов утра верьерский мэр, спускаясь к лесопилке папаши Сореля. — Хоть я и сам поднял об этом разговор, чтобы сохранить, как оно и надлежит, свое превосходство, но мне и в голову не приходило, что

* И моя ли то вина, если это действительно так? *Макиавелли (итал.)*.